Моему школьному другу, поэту и переводчику Александру Гричу — с благодарностью за прекрасное общение через многие тысячи километров

Марк, 2112 год

Лениво пролистывая записи своего прадеда, тоже Марка, покинувшего наш мир до того, как в нем появился я, наткнулся на фразу, которая почему-то заинтересовала: «Итак, Алеф — это состояние *озарения*, Ламед — *игры*, Реш — *осмысления*, а певучее “АлефЛамедРеш” отныне заменяет для меня изрядно затертое слово “творчество”; тем более непрошенно вторгшееся в русский язык “креатив”».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

23 апреля 1616 года
Уилл Шакспер, последние часы жизни

Ясно помню: 25 июня 1612 года на последнем перегоне до Кембриджа дряхлые лошади плелись так медленно, что чудилось, будто они вообще не передвигаются, а беспомощно переступают с ноги на ногу. И будь я вовеки проклят, если бодрое урчание моего пустого брюха не слышалось при этом явственнее, нежели перестук копыт, от древности своей едва ли не поросших мхом.

Копыта, поросшие мхом, — неплохой образ. Однако — даже сейчас, почти четыре года спустя, уверен — Роджер и тут возразил бы…

«Эй, Уилл! — помнится, одернул я себя. — Брось ты, наконец, с ним тягаться по поводу того, какой образ хорош, а какой плох! Сидишь себе на крыше дилижанса — и сиди! Дремлешь — и продолжай дремать! Мучаешься болями в спине, отзывающейся на все ямы и ухабы, — так тебе и надо! А еще после ночлега в Харлоу, в постоялом дворе при трактире “Митра епископа”, у тебя не было ни крошки во рту, только пьешь изредка, чтобы хоть на время унять рык пустого живота, — ну так и нечего было срочно пускаться в неблизкий путь! Но нет же, воспрянул, понесся… скучно тебе, дураку, живется без его придирок и ее улыбок».

Записка, полученная мною накануне, была такова:

Shakespeare-джентльмену

Новость первая. Ровно месяц назад присутствовал на отпевании горбуна Сесила — и мое грызущее душу желание полюбоваться его рожей в гробу наконец удовлетворено. Новость вторая, приводящая меня в отчаяние: Бэкон по-прежнему член парламента и, как говорят, ценим монархом. А третью новость ты узнаешь, если завтра приедешь

поужинать ко мне в Кембридж. Рассчитывай погостить сутки — и мы, надеюсь, успеем славно, как встарь, поработать.

Shakespeare-леди к приглашению присоединяется.

С почтением, Shakespeare-лорд

Да, точно, так тогда, в июне 1612-го, и было: вспомнив содержимое записки, встрепенулся, будто оно меня толкнуло. Или это колесо дилижанса угодило в очередную яму?..

Встрепенулся и подумал, что я все же более христианин, нежели Роджер Мэннерс, поскольку в смерти горбуна Роберта Сесила, 1-го графа Солсбери, лорда-секретаря при покойной королеве и лорда-казначея при нынешнем короле Якове, ничего радостного не нахожу; предпочитаю свадьбы и рождения.

Потом представил себе, как зло накинулся бы на меня Роджер: «Бодрое урчание пустого брюха — сомнительная острота. Но копыта, поросшие мхом… значит, зеленые… эк, куда тебя занесло! Такое освистали бы и в “Глобусе”, и во втором твоем театре, “Блэкфрайерсе”. Мне, кстати, казалось, что назвать театр “Черные монахи” — в честь расположенного когда-то в том месте монастыря — это верх безвкусицы и превзойти такое невозможно. Но “зеленые копыта”… Ты превзошел, мои поздравления!»

Как же на душе стало погано, а потому пришлось отпить глоток воды из бутыли, иначе не избавился бы от ощущения, будто рот мой — это переносная бадья, в которую состоятельные господа, когда им вдруг приспичит, мочатся прямо на улице!

Отпил. Но полегчало не после этого, а когда стал мечтать о том, как, услышав поносящие меня, Shakespeare-джентльмена, слова ее мужа, Shakespeare-лорда, очнется от сомнамбулических мечтаний Shakespeare-леди… и на первой же гласной голосок ее зазвенит, как колокольчик, который внезапно извлекли на свет божий из бездонного сундука: «Ты несправедлив, Роджер! Когда лошади долго пасутся на весеннем лугу, их копыта зеленоваты от сока приминаемой свежей травки».

Что, чертов лорд, съел?! А вам спасибо за заступничество, миледи Элизабет! Спасибо, Бетси, — так я называю вас мысленно. Но только мысленно!

Я — джентльмен, а не вертлявый французский дворянчик, чтобы амикошонствовать с великой дочерью великого человека… Есть у них, у вертлявых, такое же вертлявое

словцо — «амикошонствовать»… нет чтобы сказать попросту: «быть запанибрата»…

Хорошо еще, что жажда не донимала — наполненная в Харлоу бутыль с водой пустела медленно. Конечно, будь она наполнена сладким хересом, пустела бы быстрее — но в «Митре епископа» это обошлось бы мне в полукрону, хотя успей я наполнить такую же бутыль в Лондоне, в таверне Марко Луккезе на Харт-стрит, с меня взяли бы только два шиллинга.

Откуда в вас столько безрассудного корыстолюбия, придорожные крысы? Почему вы решили, будто сэр Уилл Шакспер согласен переплачивать целых шесть пенсов?! Да, помнится, трактирщица, вообразив, будто это приведет к благим для ее кошелька последствиям, весьма искусно вертела передо мною пухлым задом… Только ведь, проказница ты блудливая, сэру Уиллу Шаксперу в июне 1612 года было уже сорок восемь, и он отлично понимал, что к чему в этом лучшем из миров и, главное, что почем! Понимал, в частности, что зад любой, абсолютно любой пухлости стоит дешевле шести пенсов!

Однако в силу этого понимания приходилось с раннего утра обходиться водой из ручья, все еще прохладной, хотя июньский денек выдался на редкость жарким.

Жарким, как очаг, любимое мое место в доме Роджера на Сент-Эндрюс-стрит.

Как очаг, на котором — надеялся я — поспеет к моему приезду ужин, которым — надеялся я — мой измаявшийся желудок вполне утешится…

«На котором… которым…» — вот же ведь сам, без колкостей Роджера, понял тогда, что фраза не сложилась. «Ну так и черт с ними, фразами — и с гладкими и с корявыми! — решил категорически. — Главное, на столе найдется место и для вкусной еды, и для столь ценимого мною и сэром Джоном Фальстафом сладкого хереса, и для моего именного кубка, огромностью своею не соответствующего прочей изысканной сервировке».

Именно поэтому я всегда пил из него с особым удовольствием.

Однако на почтовой станции Кембриджа меня ждало подлинное бедствие!

…Ежели «вскарабкаться на» отражает результат мучительно медленного подъема, то можно ли, основываясь

на том же инфинитиве «карабкаться», как-нибудь означить мучительно медленный спуск?

Даже если и нельзя, все же попробую, хотя тогда, в июне 1612 года, не пробовал — было не до инфинитивов и какого-либо словотворчества.

Так вот: я не смог «скарабнуться» с крыши чертова дилижанса! Более того, даже сползти с нее не попытался! А яркие представители племени придорожно-дорожных крыс — кучер и форейтор, — ссылаясь на мою дородность, отказались сгрузить меня менее чем за шиллинг, то есть за половину той суммы, что я сэкономил, отказавшись от удобного места внутри кареты…

«Так будьте же благословенны мой отменный аппетит и тяга к хересу — но будьте одновременно и прокляты столь разорительные их последствия!» — помнится, стонал я тогда. Стонал еще и потому, что мужланы не спустили меня на землю, не сбросили и даже не сверзили — а буквально сковырнули, нимало не заботясь о моем окаменевшем хребте и онемевших ногах!

Перед тем как сделать первый шаг по неприветливой земле Кембриджа, взглянул на белесое небо — и солнце показалось мне яичным желтком на огромном блюде, по которому растеклась слизь белка. А уже она, переменчиво загустевая то здесь, то там, образовывала неплотные, летучие облака.

Потом опустил глаза, но не долу — вот еще! — а на уровень своего немалого, хоть и умаленного согбенностью хребта, роста. И ничего хорошего не увидел — только стайки несущихся навстречу студиозусов и бакалавров, в подавляющем своем большинстве имеющих отношение к обучающему юриспруденции, то есть крючкотворству и облапошиванию, Куинс-колледжу. Ноги этих существ — тощенькие, облаченные в штаны традиционного для альма-матер зеленого сукна, — делали их похожими на проворных кузнечиков, однако наглые, безбородые рожи свидетельствовали не о стремлении поесть и спариться, столь естественном для всего живого, а о явном намерении поживиться за счет остатков моей молодости и сил, изъять их — полностью и навсегда! — будто бы в погашение неведомо откуда взявшихся долгов.

«Каких таких долгов, мерзопакостники?! — вопил я им мысленно. — Уймитесь! Уилл Шакспер никому и ничего не должен! Так не толкайте же несчастного Уилла Шакспера, не наступайте на его мозоли! Дайте ему отохаться, добрести до

Сент Эндрюс-стрит, поужинать, залить плохое настроение хересом и узнать, наконец, третью новость.

Наверняка недобрую, ибо иных Роджер Мэннерс для Уилла Шакспера не запасал и запасать не будет»

Марк, 2112 год

Заинтересовавшись той фразой об «АлефЛамедРеш», начал записи прадеда Марка уже не пролистывать, а перелистывать — и буквально на следующей странице обнаружил вот что.

«Сотни лет шекспироведы, несть им числа, делятся на два лагеря: стратфордианцев, утверждающих, что гигант Shakespeare — это не очень заметный актер Уилл Шакспер, родившийся в Стратфорде-на-Эйвоне, почти всю жизнь проживший в Лондоне, но в 1612 году вернувшийся в родной город и умерший там 23 апреля 1616 года; и антистратфордианцев, неустанно подыскивающих на роль великого поэта и драматурга кого-нибудь высокородного и высокообразованного.

В числе этих “других” — поодиночке и в разных сочетаниях — побывали: королева Елизавета, Фрэнсис Бэкон, Кристофер Марло, граф Саутгемптон, граф Дерби, граф Оксфорд; Мэри Герберт Сидни, графиня Пемброк; сэр Уолтер Рэли, граф Ратленд и его жена Элизабет… Проще сказать: кто только не побывал!

Антистратфордианцы свирепы, они не отпускают бедному Уиллу и доли авторства в создании гениальных пьес и стихов; он для них — всего лишь циничный “торговец именем”, сколотивший на этом недурное состояние… на этом, а попутно — на “продюсерстве”, а еще попутнее — на спекуляциях всем, чем можно было тогда спекулировать, законно и не очень.

Стратфордианцы же в отношении Шакспера — максималисты, они считают, что все “шекспировское” написано им и только им. Да, признают, что часто заимствовал сюжеты и отдельные фрагменты у предшественников и современников, но тогда, утверждают они, все так поступали. Заимствовали, обвиняя друг друга в плагиате — но не в судах, а в бесчисленных памфлетах; иногда же, случайно сталкиваясь в какой-нибудь таверне, пускали в ход кулаки и кинжалы.

Поразительно, что так много умных людей больше двух веков сражались и сражаются под девизом: “Или Шакспер — или кто-то другой”, но почему-то не звучали голоса, предлагавшие всерьез рассмотреть вариант “и — и”».

Нет, Shakespeare — это редчайшая суперпозиция невообразимого таланта, огромного интеллекта и той интуиции, что дана женщинам. Так что же, их было трое?»

Еще час назад я не представлял, как это будет.

Теперь с трудом верю, что это есть.

Нет, конечно же, две узконаправленные параболические антенны с поверхностями из самых совершенных наноматериалов вовремя поднялись на нужную высоту и оказались ориентированы правильно; фильтры и декодер способны выудить полезную информацию из самого зашумленного сигнала — это уже факт, приятный факт, но результат все равно ошеломляет!

Одна антенна «шарит» по излучениям в диапазоне 4—7 герц — с ума сойти! Ведь лет тридцать назад радиофизики планеты покатились бы со смеху, узнав, что можно попытаться уловить такие сверхдлинные волны, да еще и генерированные пятьсот лет назад, да еще и плохо локализованным источником!

А потом бы икали, обессилев от хохота, если бы им сообщили, будто вторая антенна ловит излучения из того же источника и того же срока давности, но в диапазоне чудовищно коротких волн, примерно 429 терагерц, — и, что самое главное, удается еще и успешно совмещать эти два потока информации!

Поведав же одним из ныне существующих способов Экстренного Оповещения, что на мониторе при этом возникает вполне связный текст на русском и на переделанном для всесветного общения языке, который все еще именуется английским… и что повествует этот текст о происходившем во времена Shakespeare — то всем этим я ввел бы радиофизиков планеты в состояние когнитивной сумятицы: «Этого не может быть — но это есть — этого не может быть никогда — но это есть».

Впрочем, зачем ограничиваться радиофизиками? Зачем бесконечные бы да кабы? — вперед, в Систему Экстренного Оповещения, — и пусть многие увидят, пусть все увидят то, что вижу я!

Уверен, через считаные минуты многие бросят дела и видимость дел и станут придатками мониторов, где бы они, мониторы, ни находились: перед глазами или перед тем, что их заменяет; внутри того, что еще можно назвать мозгом, или внутри того, что полностью его заменяет.

23 апреля 1616 года

Уилл Шакспер, последние часы жизни

Господи, как же давно появился в моей жизни Роджер Мэннерс, 5-й граф Ратленд!

…Труппа «Слуги лорда Стрейнджа», самая, пожалуй, крепкая по тем временам, давала в Гринвиче, в королевском дворце, обе части «Тамерлана Великого». Актеров не хватало, а потому я, всего лишь помощник суфлера и слуга, принимающий лошадей высокородных зрителей, исполнял сразу две короткие и почти немые роли: в первой части представления — царя Алжирского, а в столь же длинной второй — царя Иерусалимского… благо эти, с позволения сказать, властители, на сцене не пересекались — алжирский недотепа к моменту появления недотепы иерусалимского был уже Тамерланом благополучно уничтожен.

Пятидесятишестилетняя девушка Елизавета Тюдор, наша добрая королева Бесс, задремала еще в середине первой части — и чем яростнее игравший Тамерлана трагик Эдвард Аллейн рычал и завоевывал, завоевывал и рычал — тем крепче становился сон старушки, давно уставшей воевать, хотя рычать, вернее визжать, она не устала до конца дней своих… И вот державная рука повисла, цепкие пальцы разжались, а белый, украшенный позолоченными вензелями платок упал…

Упал! Жалкой тряпицей лег на затоптанный каменный пол! А ведь совсем недавно постаревшая уродливая женщина — но королева, высокочтимая королева моей любимой Англии! — подносила его к тонким запавшим губам и прикрывала тягучие зевки, делая при этом, однако же, вид, будто аккуратно промокает ноздри ястребиного носа.

И вдруг! Жалкой тряпицей?!

Не в силах это видеть, я, помнится, завопил что было мочи:

— Подать платок! Сестре моей! Великой!

Никогда в жизни не вопил так громко, и единственный раз в истории рода людского повеление царька Иерусалимского было молниеносно исполнено персоной ранга Цезаря: трагик, забыв о хромоте своего героя, рванулся к ложе, пал на колени, благоговейно поднял кусок тончайшего батиста и, дрожа от безмерности доставшегося счастья, подал его проснувшейся Бесс.

Это было символично — свирепый завоеватель Востока на коленях перед королевой Англии!

И в этом был Театр!

А аплодисменты, какие гремели аплодисменты! — ни одному написанному Кристофером Марло монологу, ни

одной сочиненной им в «Тамерлане Великом» сцене не аплодировали так долго и так громко!

Даже сейчас, через двадцать три года, не на сцене, а близ Сент Эндрюс-стрит нашего славного Кембриджа, клянусь самому себе, всему миру и Господу: впервые тогда я испытал наслаждение, пьянящее сильнее, чем херес, — оттого что всего несколько вроде бы случайно выпаленных слов вдруг объединили в едином взлете духа венценосную особу, благородных лордов и леди, высокомерных господ и их подобострастных слуг!

В тот же миг я понял, что более всего на свете хочу быть драматургом!

…А после представления, когда я суетился во дворе королевского дворца в Гринвиче, поддерживая стремя у садящихся на своих скакунов господ (а некоторых, чрезмерно отяжелевших от вина и снеди, водружал в седло, что уж греха таить!), ко мне подошли юнец и подросток.

Наряжены они были в штаны и камзолы цветов колледжа Святого Джона — и голубой вроде бы свидетельствовал о высоте помыслов, однако вкрапления алого предупреждали о будущей приземленности деяний. Что же до излишне ярких проблесков золотого, то они будто бы намекали, что для толпы сойдет и сусальное, однако есть, есть где-то тщательно сокрытая от любопытствующих взглядов червонность.

Но даже сейчас, по прошествии двадцати лет, накануне того, как предстану перед судом Господним, признаю: не выглядела подошедшая ко мне парочка смешной. Нет, ей, в чем-то чуждой и знати и челяди, хотелось посочувствовать — как двум философам, упоенно беседовавшим в садах Академии, но вдруг оказавшимся случайно на лужайке, где красуются важничающие павлины.

И дабы не отличаться слишком уж вызывающе, вынужденным сменить белоснежные тоги на одеяния расцветок столь же вычурных, как у распустившихся вокруг них хвостов…

— Ты… э-э-э… разродился неплохим экспромтом, паренек! — обращаясь ко мне, как к навсегда младшему, промямлил подросток, оттягивая нижнюю губу без малейшего следа прорастания под ней будущей бородки клинышком… а ведь на моем подбородке таковая уже давно закудрявилась. — Ты… э-э-э… многообещающ, паренек! Во все пять часов сводящей скулы… э-э-э… скуки единственным живым эпизодом был этот экспромт с платком… Странно,

кстати, что забулдыга и забияка Марло сочиняет подобную мертвечину, вы не находите, мой Саутгемптон?

Последнюю фразу он произнес не мямля и не экая, а вполне живо, по-французски, но я, хоть и не говорю на этом жеманно-картавом языке, все же усвоил его достаточно, чтобы понять сказанное, чтобы обидеться за Кристофера, которого в то время боготворил, — и при этом возликовать, поверив вдруг, что мне суждено превзойти его, как, впрочем, и всю прочую строчащую пьесы и вирши братию.

— Нахожу, юный Ратленд! — тоже по-французски промолвил юнец.

И они удалились, не дожидаясь от меня заурядного «Спасибо за комплимент, милорды!» и даже не спросив мое имя.

По боковым сторонам прямоугольного двора нестройными шпалерами стояли слуги — и в неровном свете факелов, которые они держали в высоко поднятых руках, неспешно удаляющаяся парочка отбрасывала странные тени.

И в какой-то момент черный, распластанный на земле человек-подросток перерос человека-юношу, а потом и вовсе стал нечеловечески узким и длинным… как копье, острие которого вонзилось в отбрасываемую мною неподвижную тень.

Уже со следующего утра я начал писать. Да нет же, не писать, а наговаривать пьесы и стихи — записывали их другие. Слова изливались из меня, как летний ливень из тучи, — но записывали другие, чаще всего не занятые в сцене актеры. Что ж делать, в стратфордской грамматической школе я научился быстро читать и славно декламировать — и по-английски, и на латыни; развил в себе умение — на слух ли, с листа — схватывать крепко и навсегда огромные куски текста. Но пишу всю жизнь медленно и коряво, как неграмотный.

И стесняюсь этого.

И даже никогда не беру в долг, чтобы не мучиться и не краснеть при написании расписок.

Да, умелость рук и пальцев мне не свойственна, но ловкость языка — возмещает это с лихвой!

Зато не стеснялся и не краснел, когда заимствовал сюжеты и поэтические приемы у всех этих университетских умников: Лили, Пиля, Лоджа, Кида, Грина… Даже воровал у них, потому что заимствует, дрожа от робости, бездарность;

талант же, опьяненный дарованной ему Богом безнаказанностью, — беззастенчиво ворует!

Я подражал Марло, напропалую цитировал Овидия и Плутарха, а презираемая и обожаемая мною публика сходила с ума от восторга, заполняла театры и несла, несла, несла денежки.

Разгоряченный успехом первого показа «Юлия Цезаря», нетерпеливо ожидая, пока посланный в таверну мальчишка принесет мне хересу, я не признал подростка Ратленда в том болезненного вида вельможе, который умудрился откинуть полог ножнами шпаги… а ведь полог, помнится, был тяжеленный…

С того представления в Гринвиче прошло десять лет, во множестве запахов, наполнявших театр «Глобус», еще витала та свежесть камня, дерева и извести, которая не позволяет присвоить только-только выстроенному зданию намекающее на долговечность звание «недвижимость» — а потому двери в каморки, занимаемые пайщиками-актерами труппы «Слуги лорда-камергера», среди коих в то время был и я, решили навесить когда-нибудь потом, когда доходы станут ощутимыми; пока же обходились пологом из на редкость грубой мешковины, кусавшим мои руки всякий раз, как приходилось его откидывать.

Да если б даже не только кусал, но и ел бы — да пусть, пусть, пусть! Ведь подобно тому, как злобный пес стережет хозяйский дом, подобно тому, как суровый брат охраняет честь сестры, полог оберегал неприступность моей комнатушки — а я любил ее, эту мою первую лондонскую собственность, эту куцую совокупность квадратных футов!

«Сын ремесленника», «торговец шерстью», «деревенский учитель», «помощник адвоката» — так толкуют обо мне те из соперников-драматургов, кто считает мои пьесы мурой, однако воздает должное хоть в чем-то, например, ценит мастерство с которым сочинены полные эротического огня поэмы «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция».

Я предусмотрительно посвятил их тому самому юнцу, графу Саутгемптону, у которого потом пробыл какое-то время проворным парнем на побегушках, — и не пожалел о посвящении, ибо был вознагражден пусть не очень щедрой, но все же ощутимой суммой.

«Деревенщина, коновод» — а вот так меня клеймят те, кто не желает замечать даже мою вежливость, приятность в разговоре, обходительность манер; тот минимум

миниморум, без которого трудно не быть битым или — как Марло — убитым буйными лондонцами.

Так и заткнитесь же теперь, когда я пайщик нового театра, актер, пусть и на вторых-третьих ролях, лучшей английской труппы и автор пьес, на представления которых ломятся!

Все это так, однако труппа завтра может внезапно распасться, через месяц пьесы мои (вдруг!) могут быть освистаны — но комнатушка! Комнатушка — это другое, это когда и через год, и через десять лет на вопрос: «А здесь кто одевался перед выходом на сцену и пил херес после представления?» последует ответ: «Уилл Шакспер из Стратфорда-на-Эйвоне, ставший знаменитым Shakespeare!»

Как же я был тогда еще полон сил, гибок и счастлив… в тот вечер, когда худощавый вельможа ловко и небрежно отодвинул полог — ровно настолько, чтобы грубая мешковина не смогла куснуть широкие края его шляпы:

— Граф Ратленд! Друг графа Саутгемптона, которому ты помогал обтяпывать кой-какие делишки.

Да, у него был болезненный вид. О нем болтали многое, актеры труппы «Слуги лорда-камергера» вообще с удовольствием перемывали аристократам косточки — и Роджеру Мэннерсу, 5-му графу Ратленду, магистру искусств Кембриджа и Оксфорда, почему-то доставалось больше всех. Особенно упоенно болтали о тягчайшей лихорадке, едва не уморившей его в Падуе, куда он направился, дабы получить там юридическое образование. Диагноз был вынесен молвою: «Французская болезнь!» — однако он выжил, вернулся, жил дальше, даже собирался, как поговаривали, жениться — и ничего сифилитического в его облике не было. Ни тщетно запудриваемых язв, ни гниющего носа. Была только болезненность и крайняя умеренность в еде и питье…

И про женитьбу сплетничали.

Хотя любовь его к невесте, дочери великого военачальника и поэта Филипа Сидни, падчерице графа Эссекса, казалась искренней; хотя невеста — крестница королевы, названная в ее честь, — светилась, когда смотрела на жениха, все вокруг твердили упрямо: «Странная пара!»

Помнится, я не успел поклониться и произнести: «Счастлив вашим посещением, милорд!» — он продолжил, захватив и оттянув нижнюю губу:

— Я сказал тебе десять лет назад, что ты… э-э-э… многообещающ…

А вот тут уж успел:

— Счастлив вашим посещением, милорд! Вы пришли сказать, что ваше доброе предсказание исполняется? Вам понравилась моя пьеса? Было ли достойным представление?

— Неплохо, хотя…

Он мямлил почти неразборчиво, и приходилось напрягаться, чтобы понять…

— Хотя… э-э-э… единственный живой кусок — это монолог Антония с хорошо придуманным рефреном: «Но Брут назвал его властолюбивым, а Брут весьма достойный человек». Все остальное — мертвечина. Представление? — Что ж, обычные завывания без страсти, рыдания без слез и умничанье без ума…

Почему же, господи ты боже мой, я почувствовал себя тогда так, будто был прочно насажен на острие копья?

— Однако сейчас меня интересует… э-э-э… другое. Пару лет назад побывал в Нориче, где давали твоего «Ричарда Третьего». Это было получше, чем сегодняшний «Юлий Цезарь», чувствуется, что наши английские дрязги волнуют тебя сильнее, чем стародавние римские. Но злодей Глостер… э-э-э… вызывает у зрителя симпатию. Конечно, злодеи всегда интереснее… э-э-э… праведников, а незаурядный… э-э-э… мерзавец всегда ярок на фоне толпы мерзавцев заурядных…

Ох, да не в силах уже я был терпеть его идиотскую манеру произносить слова так, словно во рту каша! Нет! — даже не каша, а полусырая крупа, которую он, доваривая ее на малом огне своего темперамента, помешивает ленивым языком!

— А был ли Глостер злодеем и отъявленным мерзавцем, милорд? Учтите, кровожадным убийцей его изобразил Томас Мор, ненавидевший Йорков. Неужели и вы разделяете его чувства? Странно для йоркширца, ведь мы, йоркширцы — всегда за Йорков, так же как люди из Южной Англии — всегда за Ланкастеров. Но вот ведь ирония истории, милорд, в результате пришлось сойтись на Тюдорах… как любят говорить в Стратфорде-на-Эйвоне, ни нашим, ни вашим. Подговаривал ли Глостер предателя Бэкингема — а Бэкингемы всегда предатели, таково их родовое родимое пятно — умертвить своих племянников, доподлинно не известно… В моей пьесе не говорится ни да, ни нет. Был ли Ричард уродом, каким описал его Мор? — тоже вряд ли, а потому я из осторожности сделал его всего лишь «не красавцем». И вообще, милорд, у меня возник замысел создать пьесу не столько о Ричарде Глостере, сколько о человеке, за которым английский трон буквально семенил следом, как голодная собачонка, а английская корона, как

пьяная распутница, предлагала взять ее задаром и поскорее. Он и поддался соблазну, забыв, что Фортуна гораздо чаще дьявольски искушает, чем божественно благоволит.

— Да-да, ты красноречив, но не трудись попусту. Замысел… э-э-э… пьесы становится ясен после первых же реплик, но именно он Саутгемптона и меня не устраивает. Я сяду. Разговор у нас будет долгим.

Уфф-ф! Не помню, сел ли я тогда, но сейчас остановился от возмущения, вспомнив все так, будто услышал воочию и впервые. Каково?! Этим высокородным хлыщам, видите ли, не нравился мой замысел! По их кембриджскому, магистерскому разумению, я, деревенский недоучка, должен был расшаркаться, попросить поучить меня уму-разуму, а потом еще и воспеть их просветительский дар?! Клянусь, мне очень хотелось ответить Ратленду памятно для него, с удвоенным, в сравнении с уже им отмеченным, красноречием!.. но тут мальчишка принес херес, получил свои полпенни за услужливость — и, даже не предложив гостю присоединиться, я присосался к горлышку.

Хотя на виду стояли посеребренные кубки…

Он оценил!

— На здоровье, сэр Джон Фальстаф! Браво, Уилл! Я давно заметил… э-э-э… что на сцене ты особенно убедителен, когда якобы пьянствуешь. Чувствуется, что этому-то действию ты отдаешься целиком.

Что ж, шутка была неплоха, а вино — так и превосходно. Помнится, я подобрел, как всегда после хорошего глотка хереса, — и уселся поудобнее:

— А что именно — вас, милорд, и графа Саутгемптона — не устраивает в моем замысле?

И вдруг он перестал мямлить, а заговорил твердо и властно.

— Нам необходимо, чтобы зрители, глядя на Ричарда, ужасаясь Ричарду, ненавидя Ричарда, видели в нем хромого горбуна Роберта Сесила, Сесила-младшего, год назад ставшего государственным секретарем.

Кой черт, уселся поудобнее! Вскочил — и забегал по комнатушке. И закричал:

— Вы обезумели! Вы обезумели настолько, что считаете безумными и всех вокруг! Мы, актеры труппы «Слуги лорда-камергера», будем намекать на уродство и дурные наклонности Лорда-хранителя Малой печати? Да он уничтожит нас — сначала скопом, а потом поодиночке!

— Ничуть…

Да, теперь он не мямлил, зато морщился и потирал правый бок.

— Напротив, он будет сдувать с вас пылинки. Рассуди, Уилл, если бы он начал вас преследовать, то тем самым фактически признал бы, что пьеса — про него. Нет, Сесил не так примитивен… Но мы не станем сидеть сложа руки. Во всех тавернах и трактирах Англии наши люди будут твердить о полном сходстве Горбуна Ричарда Глостера с теперешним любимчиком королевы Бесс, горбуном Робертом Сесилом — и представлений «Ричарда Третьего» будут ожидать всё нетерпеливее, театры будут переполняться, а вы почувствуете, как приятно сбиваться со счета, пересчитывая такую кучу денег.

«Он же дьявол в человеческом обличье, — помнится, решил я тогда. — И лихорадка в Падуе случилась с ним во время вхождения в него сатанинского духа, никакой другой причины для нее не было!»

Но в меня-то дьявол не вселялся — и мне внезапно стало жаль Сесила.

— Но милорд! Этично ли наносить такой удар человеку, который, приходится признать, физически отвратителен, однако, по меньшей мере, не убийца… Да и говорят, он умен и весьма сладкоречив…

— Пока не убийца, но мечтает стать. Умен? Не знаю, скорее хитер и подл… И не сладкоречив, а скучен в речах, как заурядный юрист. Если язык его и сладок, то только для межножья Бесс, окончательно сошедшей с ума от стремления сочетать вечную девственность со всегдашней тягой к плотским наслаждениям.

«Межножье Бе…» — это он о королеве, храни ее Господь?! Да мне отрежут уши, если узнают, что они, бедолаги, выслушали такое — и не отпали тут же сами, по доброй воле!

— Требую, милорд, чтобы в моем присутствии о Ее Величестве говорили с должным уважением и даже благоговейно!

— А разве ты не видишь, как я благоговею?

Не видел. Видел лишь, что морщится он все сильнее, и бок уже не потирает, а гладит, словно шею уставшего коня, которого упрашивают смириться с бесконечной скверной дорогой.

— В новом варианте «Ричарда Третьего», который мы хотим тебе заказать, не должно быть ни единой аллюзии на Ее Величество, однако Глостер сам, уже в первом монологе,

должен говорить о своих уродстве и низости так, будто гордится ими. Леди же Анна, свежеиспеченная вдова, которую он соблазняет прямо у гроба убитого по его приказу мужа — кстати, у тебя этот эпизод получился живым — так вот она должна несколько раз назвать Горбуна отродьем сатаны. Сколько бы ты взял за эту работу, если б на нее согласился?

Признайся себе, Уилл, подобные повороты разговора всегда были тебе по душе!

— Труппа берет к постановке мои новые пьесы из расчета двадцати фунтов, выплачиваемых по частям с последующих сборов. Правда, мы с вами говорим сейчас о переделке, это стоит дешевле, однако я предпочел бы получить сразу… ну, скажем, пятнадцать фунтов.

— Пустое! Прямо сейчас ты получишь двадцать. И еще двадцать, когда я окончательно одобрю весь текст. Эй, Том!

«Умеет, стало быть, и кричать! — помнится, подумал я. — Или это крик боли при расставании с кругленькой суммой?»

А когда вошел слуга, он приказал:

— Вручи джентльмену кошелек!

Уилл, скажи себе сейчас, 23 апреля года 1612, когда прошло уже столько лет; когда ты почувствовал, что недолго тебе осталось быть в этом мире: нравственно ли ты поступил тогда, согласившись?

И ответь себе, Уилл: по отношению к оболганному тобою Ричарду Глостеру, королю Ричарду Третьему, последнему представителю славной линии Плантагенетов, ты поступил безнравственно. Он не был, скорее всего, горбат и уродлив, так, слегка кривоват и некрасив. Он убивал только в честном бою, а мятежников казнил лишь по приговору суда. Однако ты поступил нравственно с точки зрения обожаемой тобою королевы Бесс — ей наверняка было приятно, что в фантазиях толпы вина за убийство двух юных принцев снята с ее деда, Генриха Седьмого Тюдора, и возложена на Ричарда Третьего Плантагенета.

Ты быстро посчитал в уме, что сорок фунтов — это сто шестьдесят крон или восемьсот шиллингов, и почему-то именно это количество шиллингов убедило тебя тогда, что поступаешь нравственно…

Но главное, Уилл, тебе ведь тоже не нравился горбун Сесил, выказывающий при встрече с тобою брезгливое пренебрежение, — и ты с удовольствием, чтобы подразнить, пощекотать, ущипнуть его, надул на спине Глостера горб, который распирало от обиды на весь род людской.

Тебе не нравился горбун Сесил столь же сильно, как понравились восемьсот шиллингов — а это хорошие две причины для извержения вулкана вдохновения!

Все было ясно, осталось лишь договориться о сроках.

— Когда вы хотите увидеть готовую работу, милорд?

— Самое большее, через месяц. Спеши, Уилл!

— Месяц? — это не называется спешкой. Хватит недели. За мною-то дело не стоит, все зависит от быстроты руки записывающего реплики и монологи. А я потом расставляю ремарки — и всё, пьеса готова.

— Да, мне рассказывали, что ты наговариваешь текст прямо на сцене, во время репетиций — иногда целыми актами. Так может быть, продемонстрируешь это прямо сейчас? Попробуй-ка — тот монолог Глостера, с которого начинается представление.

«Эге, да вы недоверчивы, милорд! — помнится, подумал я. — Хотите убедиться, прежде чем уйдете, что двадцать соверенов потрачены не зря?»

Хлебнул хереса, прокашлялся, согнулся, сделал хитрое и злобное лицо.

Теперь зима несчастий миновала
И лето торжествует солнцем Йорка,
И тучи, что над нами нависали,
Погребены навек в морской пучине.
Венчает нам чело победы лавры,
Оружье наше грозное ржавеет
И прежние суровые тревоги
Пирами заменились в одночасье,
А громы маршей — музыкою нежной…[1]

Помнится, хорошо помнится, что он не прерывал меня, но то тускнеющие, то разгорающиеся глаза его точно отражали восприятие меня и моих слов.

Две плошки со свечными огарками стояли на краях стола, и каким-то чудесным образом яркость их света изменялась в строгой зависимости от яркости глаз Роджера Мэннерса, 5-го графа Ратленда…

Словно флюиды, из глаз его струящиеся, были то дуновением свежего воздуха — и тогда язычки пламени приободрялись, тянулись вверх и истончались в основаниях так, будто вот-вот взлетят, подобные огням фейерверка… и погаснут наверху, обещая воссиять вновь, лишь только наступит следующий праздник; то тяжелы, как властная ладонь, стремящаяся придавить эти слабые язычки, — и тогда

они распластывались, словно прося защиты у застывающего воска.

Но глаза, помнится, стали изумительно яркими, как только я-Глостер заговорил не о том, что творится вокруг, а о ярости своей, неудержимо рвущейся наружу.

…Но мне-то что до вашего веселья?
Я недоделан, искорежен, скручен
И выкинут до срока в этот мир
Таким уродом, что рычат собаки,
Едва меня завидев… Не могу
Я ни на миг предаться наслажденьям
В вялотекущий этот век. Так что же?
Утешиться, что тень моя под солнцем
Уродливей меня — и только ей
Быть преданным союзником и другом?
Да будет так! Мне не бывать счастливым.
Блаженствовать во дни всеобщей неги
Мне не дано. Что ж, выберу удел
Злодея — пусть война
Пожалует на ваш беспечный праздник[2].

— Неплохо… А про собак и тень — даже хорошо. Но никуда не годятся первые две строчки. Как там? — «Теперь зима несчастий миновала… Что за безвкусица — «зима несчастий»? Еще пора несчастий — куда ни шло, но «зима несчастий»?! И разборчивое лето, которому мало просто «торжествовать солнцем», что уже, замечу, звучит беспомощно, так ему еще и понадобилось для этого именно солнце Йорка? Откуда такая неряшливость, Уилл? Следуешь принципу: «Сойдет, поскольку публика — дура!»?

— Простите, милорд, тогда, может быть: «Прошла зима междоусобиц наших, под йоркским солнцем лето расцвело…»[3]

— Еще хуже! «Лето расцвело»… ф-фу… даже подванивает, как после разрешения от долгого запора! А зачем упоминать междоусобицы? Если ты называешь «йоркским» то солнце, что изображено на гербе дома Йорков, то дай зрителю самому вспомнить про войну Алой и Белой роз, а не разъясняй услужливо, что то было время междоусобиц.

Даже сейчас не могу передать, как он меня злил! Но и не могу не признать, что за всю жизнь не получал таких едких и точных замечаний! Осушил сгоряча всю бутыль и сказал

устало: «Теперь зима семейных наших бед под солнцем Йорка в лето превратилась…»

— Примерно!

И, не примериваясь, стукнул кулаком по столу так, что обе плошки упали. Почти погасшие свечи осветили его бородку снизу, и я впервые увидел, что она временами похожа на торжествующую V — Victory! И повторил:

Теперь зима семейных наших бед
Под солнцем Йорка в лето превратилась,
И тучи, что над нами нависали,
Погребены навек в морской пучине…[4] —

и так до конца монолога, ни разу не сбившись и не перепутав (вот так память!) ни единого слова. А потом сказал:

— Примерно так, Уилл! Кровавый Глостер напоследок позволил себе быть сентиментальным, вспомнить о семье — и все, вперед, к трону!.. Еще плохо, но уже не по-прежнему плохо… Старайся, когда-нибудь получится хорошо. С трех раз не вышло, значит, выйдет с семи. В крайнем случае, с одиннадцати… Три, семь и одиннадцать — любимые мои числа… Кстати, ты ведь не зря свои изданные книги, в которых — увы! — слишком много безвкусицы, подобной «лето расцвело», стал подписывать именем «Shakespeare» — «Потрясающий копьем»? Помнил же, что на гербе Ратлендов доминирует копье.

Да ни черта подобного я не помнил. Подписывал так потому, что Shakespeare несомненно благозвучнее, нежели Шакспер.

«Но неужели на его гербе действительно доминирует копье? — подумал я тогда. — Неужели именно на его острие я насажен, а Саутгемптон, покровительство которого помогло мне делать первые шаги — это всего лишь бита Судьбы, словно бы ударившей по маленькой чурочке?.. Но куда, однако, полетела эта чурочка, которой ненароком оказался я сам?»

Уходя, он велел называть его — разумеется, не на людях — просто Роджер и обращаться на «ты». Поэтому я и спросил у дома на Сент Эндрюс-стрит, добравшись наконец до него: «Привет, приятель! Готов ли ужин? Ждет ли меня твой сумасброд хозяин?», а он словно бы ответил мне: «Привет, Уилл! Ужин вот-вот. Твой друг в кабинете, как обычно».

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru